

Последняя встреча с Василием Гроссманом

Почему-то в последнее время я все чаще и чаще думаю о нем.

Это предчувствие той же судьбы, или созрело в душе воспоминание, или просто нельзя уже ждать, некогда ждать, время истекает.

Предвестье судьбы приблизило его ко мне, и я подробно вглядываюсь в него, чтобы понять его, увидеть его в себе и себя в нем.

Я вижу его таким, каким встретил тогда, в сумрачный зимний день января 1942 года, на полевом аэродроме 6-й воздушной армии у Изюм-Барвенково. Я только прилетел на «У-2» из штаба 6-й армии, которая нацеливалась на Харьковскую операцию, а он шел навстречу к самолету, возвращаясь в штаб Юго-Западного фронта, который квартировал в то время в Воронеже. В простой шинели и в солдатской цигейковой ушанке, с легким вещмешком, он похож был на усталого пожилого солдата, только тонкие учительские очки нарушали это впечатление. Мы остановились на снежной тропинке и немного поговорили. Он в спокойном, медленном, характерно ироничном тоне все понимающего и все прощающего пожилого человека, а я взвинченно, восторженно, нетерпимо, негодуяюще.

И, сколько я после о нем ни думал, я почему-то всегда вспоминал его именно тем пожилым и усталым солдатом, спокойно делающим свое солдатское дело, мудро вглядываясь в войну. Это тогда он мне сказал:

— Я пишу только то, что видел, а выдумать я мог бы что угодно.

Голос его глухой, сильный, глубокий, и слова всегда какие-то крутые, подлинные, как крупнозернистая соль, только что добытая на копях, только отколотая от материка земля. Слово, которое он произносит, обработано и весомо и ложится в фразу, в разговор, как стесанный камень или кирпич на стройке, слово к слову, в крепкий, нерушимый ряд, их не сдвинешь, и они никогда не славируют, и он никогда не откажется от них.

В нем была неторопливость, несуетность, медлительность и как бы сонность движений и разговора, в которых таилась взрывчатая, зря не расходуемая, береженная сила, бешеное упорство и терпение, которое все преодолевает.

Я часто видел его в годы его главного творения, Главной книги, и он похож был скорее на каменотеса, казалось, большие, сильные рабочие руки его держали молот и долото, но не хрупкое, обмакнутое в чернила перо. Он, казалось, строил в это время грандиозный Собор, и эта книга его, не увидевшая света, и была Собором, величественным, современным, суровым и светоносным, святым Собором нашего времени. В ней впервые и до сих пор, хотя прошло уже пятнадцать лет, единственный раз была сказана вся правда о прошедшей великой и страшной войне.

В дневнике моем записано: 15 ноября 1963 года.

Вечер этот теперь мне кажется таким печальным, одиноким, ужасным в своей будничности, да таким он, наверно, и был.

Один из тех серых, одинаковых вечеров нашей жизни, которых такое множество, которых уже и не запомнишь, которые повторяются и повторяются и уже сливаются

в один постылый день. Может, такими они бывают все, вечера человеческие, и только в волшебном фонаре времени они воссоздаются в ином свете и расцветают, как настурция.

Осенний вечер, когда студёный ветер срывал уже последние бурые листья и некоторые из них вмерзли в ледок уличных луж и просвечивали узором, напоминавшим детство. Вечер смутными, желтыми, как бы растворёнными во мгле огоньками окон, спешащими под дождичком с авоськами, сумками и портфелями прохожими, каждый в своей раковине, в своей сиюминутной заботе, никому другому не нужный, погибший, если сам за себя не постоит.

Кто-то еще повстречался на пути, я уже не помню кто, и мы по обыкновению немного постояли и поговорили о чем-то сегодняшнем, злободневном, раздражающем, беспомощно махнули рукой и разошлись.

Здесь, в этих новых, выросших на бывшей городской окраине и следующих в затылок друг за другом массивных кирпичных корпусах, с недавних пор проживали московские литераторы. На неполном квадратном гектаре жили почти пятьсот поэтов, романистов, сатириков, сочинителей опереточных либретто, скетчей, куплетистов, современных мейстерзингеров, бывших и будущих Добролюбовых, с десятков Булгариных, литературных квартальных и надзирателей. И теперь эти дома на ходу осваивала милиция, почта, сберкасса, булочная, молочная и та дальняя, выпыточная организация, которая должна все слышать и все знать.

Я одиноко прошел к большому, мрачному новому дому, построенному в виде буквы «П», на углу Первой Аэропортовской и Красноармейской.

Это был девятиэтажный кооперативный дом, куда перебрались люди после всей их жизни, проведенной в коммунальных муравейниках, на общих кухнях, на общих лестницах, с общими телефонами, жизни с коммунальными сплетнями, интригами, бунтами, с подслушиваниями, подсматриваниями, с доносами. И вот почти к концу жизни человек получил ключи, открыл дверь, вошел в свою пустую, пахнущую краской квартиру, захлопнул дверь и впервые остался один в тишине целого мира, наедине со своей душой, своей совестью.

В одну из этих ячеек, в скромную и тесную коробочку однокомнатной квартиры с окнами в тихий пустынный параллелограмм двора, въехал и Василий Семенович Гроссман.

Над подъездом тлела почему-то вполне накала лампочка под пластмассовым колпачком, и в подъезде тоже было сумрачно и неудобно, настраивало на нехороший лад.

— Вы к кому? — с молодым подозрением спросила старуха лифтерша.

— Знаю к кому, — отвечал я и хлопнул дверью лифта, нажал кнопку, и она осталась внизу, получающая сорок рублей за службу и за наблюдение.

Когда я поднялся в новом скрипящем, дребезжащем, еще не привыкшем к своему гнезду лифте на пятый этаж, на пустую лестничную площадку с четырьмя дверями квартир, три из них были обиты коричневым дерматином, с крупными узорными кнопками, а четвертая была голая и какая-то суровая, непреклонная в своем аскетизме. Я нажал звонок, и за дверью послышались шаги, надтреснуто-знакомый голос спросил:

— Это вы, Борис?

Дверь открылась, Василий Семенович, очень похудевший, печально улыбался, словно до того, как я пришел, случилось что-то, что я должен был уже знать и к чему относилась эта печальная, безнадежная улыбка. Только я сказал: «Добрый вечер!» — и, возбужденный встречей, громко, бурно заговорил, он приложил палец к губам и молча провел меня через тесную тусклую прихожую в слабо освещенную, полную тенью, неубранную, неустроенную комнату, где на столе, уже приготовленный заранее,

лежал лист бумаги, на котором красным карандашом крупным ломаным почерком было написано: «Боря, имейте в виду, у стен могут быть уши».

Я молча взглянул па него, и он на меня. Чтобы все-таки что-то сказать, я произнес: «Понятно». Ладно, пусть они запишут это «понятно», а что «понятно», ведь непонятно. Я к этому времени уже слышал, что приходили какие-то типы и устанавливали именно над этой квартирой загадочную аппаратуру. Это не могло остаться секретом. Техник-строитель сказал кому-то из членов правления, что квартира «озвучена», тот сказал своему товарищу, и постепенно об этом узнал весь дом, и соседний дом, и даже в других районах узнали все, кто интересовался этим.

У Василия Семеновича были черные руки, он чинил сломавшуюся машинку.

— Теперь сам перепечатаваю, — сказал он, — когда были деньги, я отдавал машинистке.

Новая квартира отчего-то казалась старой, изжитой, измученной и заброшенной. Может, оттого, что она забита была старой мебелью, а может, из-за тусклого света, мертвящей тишины, одиночества.

В этой комнате все как бы иссохло и покрыто было каким-то невидимым пеплом печали.

Старомодная продавленная софа, старый, исцарапанный, с чернильными пятнами письменный стол, линялый, потертый коврик на полу, обветшавшие корешки книг на этажерке. Это впечатление заброшенности усиливали полузасохшая пальма и расставленные на полочках и на подоконнике карликовые кактусы, похожие на обрубленных уродцев. Еще были тут несколько тяжелых черных чугунных фигур то ли лошадей, то ли псов, на стене висели побитые молью лосиные рога, а на рабочем столе стояла старенькая, разбитая машинка, в которой торчал лист с отпечатанными раздерганным шрифтом бледноватыми строчками. Я представил себе, как она дребезжит во время работы. На кресле у софы лежали знакомые красные с золотыми буквами томики Фета издания Маркса и очки в тонкой оправе.

Все вокруг было словно заблокировано, занавеси задернуты, и мне стало душно. Первое горькое желание — поскорей уйти, вырваться из этой несчастной, неустроенной жизни, просто тебе самому слишком долго было плохо. О, как теперь в возрасте и опыте страдания, в раскаянии я чувствую тоску его в тот темный сырой вечер, когда я к нему пришел в последний раз.

Я долго не знал, что у него изъят роман. Однажды летним июльским вечером, гуляя по центру, забрел случайно в Александровский сад и увидел на скамейке Гроссмана и его друга Липкина. На этот раз он как-то странно холодно меня встретил и обидчиво заметил, что я не показывался целый год. Я ответил, что болел.

— Все равно, — как-то отвлеченно сказал он.

Так же некогда он выговаривал мне за то, что я не посещал в последние дни перед смертью Андрея Платонова.

Мы немного помолчали, потом я сказал:

— Василий Семенович, дайте мне прочесть ваш роман.

— К сожалению, Боря, я сейчас не имею возможности, — как-то глухо ответил он.

Липкин странно взглянул на меня и смолчал.

Только теперь я заметил, что у Василия Семеновича подергивалась голова и дрожали руки.

Потом я узнал, что роман арестован. С тех пор в обиходе и появилось словечко «репрессированный» роман. Пустил его, как говорят, «дядя Митя», Дмитрий Поликарпов, бывший в то время заведующим отделом культуры ЦК КПСС и сыгравший в этой операции ключевую роль.

Однажды я принес Василию Семеновичу еще в квартиру на Беговую «По ком звонит колокол». К тому времени роман еще не был напечатан, а ходил по рукам в

машинописной копии на правах Самиздата. Мы беседовали о судьбах рукописей, и вдруг я попросил его рассказать, как забирали роман. Он раздраженно ответил:

— Вы что, хотите подробности? Это было ужасно, как только может быть в нашем государстве.

И больше ни слова.

Мне бы надо тогда сказать: «Я ведь не из любопытства спрашиваю». Пусть бы еще одно свидетельство осталось. Может быть, какое-нибудь из них выживет. Чем больше свидетельств, тем больше шансов, что одно из них выживает даже при том, что государство промышляет бреднем. Но я этого не сказал. Я промолчал. Меня только удивила его резкость.

Уже после его смерти я узнал, как однажды днем на Беговую пришли два человека.

— Нам поручено *извлечь* роман. — Вот именно так они сказали: *извлечь*.

Забрали не только все копии, но и черновики, и материалы, а у машинистки, перепечатававшей роман, забрали даже ленты пишущей машинки.

И вот теперь в нашу последнюю встречу он с бессильной мольбой сказал:

— Хочется работать над рукописью, исправлять, переделывать, а нет ее.

И все-таки, мне кажется, он записывал исправления, новые строки, эпитеты, совершенствуя, шлифуя, заостряя, как это делал в свое время до самой смерти, работая над рукописью «Мастера и Маргариты», Михаил Булгаков. Это ведь как дыхание.

Изо дня в день работа над романом, который не может быть, ни за что не может быть напечатан, фанатичная, безумная работа над фразой, над словом в этой как бы не существующей книге, полный отказ, уход из жизни, почти уход в небытие, в сотворенный тобою мир, дерзость, святость, одержимость Бога.

Что же должен пережить, передумать писатель, когда забрали у него то, чем он жил десять лет, все дни и ночи, с чем были связаны восторги и страхи, радости, печали, сны.

Гроссман написал письмо наверх, и его принимали в самой высокой инстанции, выше уже нет.

Василий Семенович рассказывал о человеке, принимавшем его:

— Сердечник, человек поднаторевший, все время вращающийся в интеллигентной среде, но сам не ставший интеллигентом. Не обаятельный ум, но отменно вежлив, без грубости, но это уже давно известно, что на одном этаже грубо, на другом не грубо, что бы ни сделали с вами. Сказал — «это не то, что мы ждем от вас».

Василий Семенович хотел еще что-то добавить, но поглядел на стены и махнул рукой.

Тот, кто принимал его, сказал:

«Мы не можем сейчас вступать в дискуссии, нужна или не нужна была Октябрьская революция», — и еще он сказал, что о возвращении или напечатании романа не может быть и речи, напечатан он может быть не раньше чем через 200—300 лет.

Чудовищное высокомерие временщика. Это из той же оперы, что и тысячелетний рейх, десять тысяч лет Мао, дружба на вечные времена, посмертная реабилитация, посмертное восстановление в партии убитого той же партией.

Откроются архивы, откроются доносы, все получит свою оценку. Ну и что? Те, которые будут клеймить это позором, разве не могут повторить со своими современниками то же самое и, может быть, еще в более страшном, чудовищном варианте.

Вот уже лет пять, как Гроссмана забыли, его как бы не существовало. И даже в статьях о военной литературе, где он, бесспорно, был первым, самым крупным художником этой войны, в этих статьях его фамилия встречалась все реже и реже. Нет, он не был под официальным запретом, но как бы и был. Редкий рассказ вдруг прорывался в «Новом мире» или в «Москве». И самое удивительное, что это то же время, когда

были опубликованы «Один день Ивана Денисовича», «Матренин двор» и «Случай на станции Кречетовка», когда поговаривали вообще о ликвидации цензуры, именно в эти дни в нашем путаном обществе арестовали роман Гроссмана, негласно репрессировали его имя.

В последние годы жизни он написал «Записки пожилого человека (Путевые заметки по Армении)», произведение, на мой взгляд, гениальное, из того же класса, что «Путешествие в Арзрум». Записки были набраны и сверстаны в «Новом мире» и задержаны цензурой из-за нескольких фраз об антисемитизме. Требовали их убрать. Гроссман уперся. «Записки» пошли в разбор. А после был Манеж, «Обнаженная» Фалька, или, как говорил другой временщик, «Обголенная Фулька», борьба с абстракционизмом, знаменитые приемы интеллигенции, похожие на спектакли на Лобном месте, идеологические качели пошли вниз и вниз, в пропасть, смердяще пахнуло эпохой культа, и уже речи не могло быть о публикации «Записок».

Чья-то рука, вернее, много чиновных рук по указанию одного перста аккуратно и неумолимо изуверски вычеркивали Гроссмана из издательских планов, из критических статей, литературоведческих работ, жилищных списков, вообще из всех списков благодеяний, как это в свое время было с Михаилом Булгаковым, Анной Ахматовой, Андреем Платоновым, а до них с Осипом Мандельштамом.

Василий Семенович показывал мне отрывок, принятый в «Неделе» и отпечатанный только в части тиража, машина посреди ночи была остановлена, и вместо этого отрывка в другой части тиража заверстан очерк о Приморье. На столе у него лежали эти два номера-близнеца с разными носами.

Я сказал ему, что он в свое время сделал ошибку, не пожертвовав в «Новом мире» двумя-тремя абзацами.

— Вы это говорите как писатель и как еврей? — спросил он.

— Да, — сказал я, — там у вас были вещи поважнее и позначительнее, чем антисемитизм.

Он ничего не ответил, смолчал.

Только после молчания рассказал, как одного его знакомого, одетого в шубу, на Арбате задели, а когда он возмутился, плюнули в лицо и сказали: «Скоро будет погром, нам обещали!»

— Как быстро это пришло в подвалы, — печально сказал Гроссман.

Через несколько лет после смерти «Записки», скальпированные, кастрированные, были напечатаны в «Литературной Армении», журнале тиражом две тысячи экземпляров, их прочитали гурманы, любители изящной словесности, фрондирующие интеллигенты.

Заговорили про напечатанное в «Литературной газете» интервью со Стейнбеком, где он вроде бы польстил нашей державе. Василий Семенович сказал:

— Уж как я привык и то возмутился. Я понимаю, что могут приписать, но когда ничего нет, то нет. Тогда пишут: «Пропасть лежит между высказываниями и романами», или: «Трудно понять непонятную и странную позицию». Вот с Бёллем, как ни вертели, ничего ведь не могли придумать.

Потом заговорили про недавно напечатанные мемуары Эренбурга. Он был недоволен ими.

— Это ведь исповедь, покаяться надо было, а то получился фельетон.

Я сказал, что Эренбург был единственным евреем в России, принявшим католичество.

— Нет, еще был Минский, уехал в Испанию в монастырь, дал обет молчания и уже не произнес ни одного слова. Вот так-то! — и он сверкнул очками.

О, этот вечер, когда он, грузный, с одышкой, ерзая на стуле, поглубже и поудобнее устраиваясь и по привычке касаясь рукой больного бока, как бы успокаивая боль,

глухим, глубоким, но уже чем-то неуверенным в себе, чем-то усомнившимся в себе голосом читал грустный, щемящий рассказ, впоследствии названный «Мама». Сильный и страшный рассказ о том, как в Британии, на туманной Темзе, в семье работника советского торгпредства родилась девочка и в младенческом сне видела белых чаек над Темзой. Как раз в эти дни его неожиданно отозвали в Москву и тотчас по приезде арестовали вместе с молодой женой, девочка попала в детский дом. И вот однажды в том замоскворецком переулке, где был детский дом, появилось военное оцепление. Жители говорили, что в детском доме чума, а это Ежов с супругой приехали выбирать приемную дочь и выбрали эту девочку. И как потом снова все повторилось, забрали уже Ежова. До сих пор помню пронзительное описание обыска в этой высокой квартире, где только накануне были Сталин, Молотов и Каганович. И снова девочка в детском приюте где-то в Туле, вырезает из старых желтых газет портрет Ежова, уверенная, что это ее отец. Только, как странное призрачное видение, словно воспоминание того, чего никогда и не было и не могло быть, являются ей белые птицы-чайки из того младенческого сна, когда она еще была дочкой тех убитых. Я слушал, и у меня было ощущение, что это мне снится волшебный полет белых птиц.

Василий Семенович читал рассказ ровным, внятным, несколько учительским голосом, приглушенным болью, хриловато отчеканивая слова. Иногда казалось, что это не проза, а клятва, проклятие, песня песней. А потом он еще прочел небольшой, протокольно записанный рассказ о старой большевичке Надежде Борисовне Алмазовой, которая в последние дни жизни получила комнату в новом доме на Юго-Западе, вскоре умерла, и как после смерти пришло на ее имя письмо. Это воскресенье, и соседи ее по коммунальной квартире играют на кухне в «подкидного дурачка», игра прерывается приходом почтальона. Письмо вскрывают, а там извещение, что Алмазов — муж Надежды Борисовны — посмертно реабилитирован.

Слесарь, житель квартиры, говорит: «Ладно, завтра пойду в домоуправление и отнесу письмо».

Рассказ заканчивается возобновлением «подкидного дурачка».

«— А кто сдает?

— Кто остался, тот и сдает».

Это были именно те слова, которые входят, как копьё, в сердце.

Казалось, в комнате все иссушено, и бумага, шуршавшая в его руках, и то, что он читал, было сухо, ушли краски, свет, кипение, остались только жесткие точные слова, иероглифы и разлитая бессильная боль.

Это было уже во второй раз на моей молодой жизни. Вот так же доходил в сумрачной своей комнате, в матрацной могиле, всеми забытый, заросший бородой Андрей Платонов, и он рассказывал мне, как однажды на фронте ночевал в крестьянской хате, и в сенях вздыхала корова, и он всю ночь не спал и слушал вздохи.

А литературные палачи сменяли друг друга с железной неумолимостью и становились все мельче и ничтожнее. Они вырождались из кобры в клопа. Сначала были те, которые сами умели писать, но и убивать хорошо умели, а потом те, которые не могли писать, а только убивать. Теперь те, которые не могут ни писать, ни убивать, а только кусать.

Гремели литературные диспуты, симпозиумы, форумы, кипела муравьиная суета, паучья толкотня, подымали на щит жуликов, мазуриков, ловчили, печатали миллионными тиражами и награждали Государственными премиями книги, набитые ватой, которые не только через год, но уже в дни награждения читали только обманутые, дезориентированные, сбитые критическим шумом фальшивомонетчиков, а Василий Семенович Гроссман в своей тусклой, сумрачной комнатке выстукивал одним пальцем на старой разбитой машинке слова, которые будут сжимать сердца людей и через сто лет.

Конечно, к этому привыкнешь, как к болезни, тюрьме, потере близких, и это уже не вызывает протеста. Вот так и тянется жизнь.

Ошибочно, что люди, чуждые суеты славы, насмеваются и издеваются над ней, и им, забытым, хочется если и не света «юпитеров», то общения, публикаций, признания. Гроссмана никогда не баловали вниманием. С грустью говорил он: когда печатают роман, звонит телефон, приезжает курьер с гранками, присылают машину, ты нужен, все ж таки приятно. А потом телефон молчит, курьеров нет, и никому ты уже не нужен.

— Знаете, забывают все-таки, — печально сказал он, — за десять лет напечатали три-четыре страницы. Я недавно спросил пятилетнюю девочку, кто такой Сталин, она не знала. А ведь Наполеону и не снилась его слава.

Он говорил спокойно, чуть иронично, как бы посмеиваясь над самим собой, да и над собеседником, глуховатым, пожилым, мудрым голосом раввина и инженера.

Один, совсем один, забытый, сидел он в своей квартирке и писал очередной рассказ, зная и понимая, что никто этого рассказа не ждет, ни одна редакция не позвонит, что и напечатать ему рассказ невозможно. Правда, об этом он сейчас не думал и не мог думать. Думал только о рассказе, и на этот миг мощь и наслаждение работой отвлекли его от тоски, тяжелых мыслей, понимания своего положения, снимали удушье.

За весь вечер, пока я сидел у него, мы беседовали, и он читал мне рассказы, за весь долгий вечер телефон ни разу не зазвонил, не было даже ошибочного звонка.

В этой новой холодной комнате с пальмой в кадке и мертвыми уродцами, кактусами, с живыми слушающими, враждебными стенами чувствовалась обреченность. Меня коснулось и объяло это глухое городское одиночество в камере огромного дома, в миллионном городе, в немоте, постоянном чувстве чуткого, недремлющего, неустанного электронного уха, которое слушает и слушает день и ночь и кашель, и хрипы, и крики боли, и, кажется, даже мысли, кажется, все знает, все просвечивает.

Человек, которому в это время должен был внимать мир, в тот затерянный вечер радовался, что у него есть один слушатель. Кроме меня только кактусы тоже, казалось, слушали его с человеческим вниманием.

А этот единственный слушатель торопился к своей жизни. Куда я торопился, зачем не досидел до поздней ночи, до рассвета в этой последней беседе, последней встрече.

В жизни, в которой мы живем, мы не ценим того, что должны были ценить, мы проходим почти равнодушно мимо близких, родных людей, их бед, их несчастий, нам некогда, мы торопимся, мы очень заняты собой, мы не пишем писем, которые должны были написать, мы даже не приходим на похороны, а потом, потом мы громко плачем, сожалеем, ужасаемся своему эгоизму, своему равнодушию и в дневниках, в стихах и прозе изливаем свою тоску, горе, вымаливаем прощение. Все несправедливости, все притеснения возможны только потому, что каждый думает о себе, всегда только о себе.

В самом конце вечера, как бы подводя итог нашим разговорам, Василий Семенович сказал:

— Меня задушили в подворотне.

После была болезнь, больница, долгое, жестокое, мучительное умирание, крики, которые поднимали в воздух Первую градскую больницу. Природа добивала его с той же, что и государство, неумолимостью и беспощадностью.

Было необычно жаркое сентябрьское утро, прощальный день сухого лета. Почему-то долго, томительно сидели во дворе Союза писателей на скамеечке под падаю-

щими листьями и ждали начала панихиды. Летали поздние неожиданные мотыльки, они были какие-то взъерошенные, судорожно, истерическими рывками перелетали с травинки на травинку, вздрагивая, садились на поздние осенние цветы и как бы оглядывались — не приснился ли этот мир, эта однодневная жизнь, данная им случайно, напрасно.

Медленно стекались люди, не много, но и не мало. Не было обычного, торжественно-печального подъема знаменитых похорон, а как-то тихо, таинственно. Одна женщина сказала:

— Так хоронят самоубийц.

Да он и был самоубийца, писал, что хотел и как хотел, не желал входить в мутную общую струю.

Я сидел на скамеечке под падающими желтыми листьями и думал. Поразительная судьба. Действительно задушенный в подворотне. И после смерти его продолжали втихую душить. В редакции «Литературной газеты» долго судили, рядили, как давать некролог — с портретом или без, указаний на этот счет не было, и напечатали на всякий случай без портрета. «Советская культура» неожиданно дала портрет, получился конфуз, но редактор «Литературной газеты» легко его перенес, у него было чувство своей правоты, чувство политической перестраховки, а значит, и превосходства.

Панихида задерживалась, и никто не знал, в чем дело, очевидно, где-то в последней инстанции окончательно утрясали список ораторов.

Толпа все увеличивалась, было много незнакомых лиц. Какой-то человек подсел ко мне и представился:

— Я Аметистов, все знают, что я порядочный человек...

— Очень хорошо, — сказал я, встал и ушел.

У раскрытого подъезда торчком стояла в ожидании газетовая крышка гроба, в здании вяло, кладбищенски-печально пахло венками. Большое зеркало прихожей было завешено простыней, скульптура в черном крепе, люстры повиты черной кисеей.

Народ жался у стен, и пол был покрыт еловыми иглами и лепестками траурных цветов.

Вдруг что-то произошло, где-то была дана команда, и толпа как-то зрелищно устремилась по широкой лестнице в конференц-зал. Я остался в фойе.

Из тишины пришла взвизгивающая нота, кто-то начал речь.

Все наши муки, горе, сострадание, жизнь и смерть в последние десятилетия были каким-то образом связаны с этим конференц-залом. Здесь шли долгие безумные собрания и убийственные обсуждения, именно здесь и состоялось то заседание секретариата, на котором Первенцев назвал Гроссмана идеологическим диверсантом, а Фадеев сказал, что стоило нам на минуту отвлечься, как выполз национализм Гроссмана.

В фойе была угнетающая тишина, тишина мимолетной жизни, как бы прислушивающейся к миру смерти.

А в больших пустых служебных комнатах на столах неутешно звонили телефоны, во двор на серой машине «Связь» приехал фельдъегерь, сдал засургученный пакет и, даже не взглянув в сторону зала, откуда доносилось жужжание похоронных речей, спустился по лестнице, и в тишине снова зафырчал мотор, а когда он затих, слышно стало, как в техническом секретариате стучат почтовым штемпелем.

Да, учреждение работало на полном газу.

Чем роскошнее, представительнее становилось это учреждение, лакированное парадный ход, вместо гнусной раздевалки и пахнущего карболкой писсуара — просторный, обитый сосновыми панелями гардероб, на мраморной лестнице — ковровая красная дорожка и в кабинетах массивные, огромные, похожие на прокатный стан столы, чем это учреждение становилось богаче, солиднее, государственнее, тем меньше в нем было живого дыхания и дела, участия к людям, тем больше оно становилось

похожим на загримированный, одетый в фальшивую парадную одежду разлагающийся труп.

Когда секция сказочников заседает при закрытых дверях, как Генеральный штаб, когда глупые, никчемные людишки могут болтать все что угодно, хвалить друг друга, подлизываться друг к другу, награждать друг друга, ведь никто не ответит им, никто не посмеется над ними, все перерождается.

Как раз в час похорон на свое очередное заседание собирался секретариат.

Они торопились мимо гроба, собираясь поодиночке. Первым появился Н. Он прошел деловым шагом, даже не остановившись возле распахнутой двери в конференц-зал, прекрасно знал, что тут происходит и какое он лично имеет к этому отношение, выдав доверенную редакции рукопись романа карательным органам. Лицо с крепко натянутой, как ремень, кожей ничего не выражало, кроме вечного недовольства, словно он все время жевал дерьмо.

Другие останавливались на одну-две минуты, но каждый останавливался по-своему.

Вот А. в новой велюровой шляпе и новом костюме, в рубашке с высоким, режущим вялую, мятую шею воротником, сначала прошел мимо, но, поняв, что его видят, вернулся. Я долго смотрел на его землисто-лимонное лицо, заостренное, как у стервятника, куриные серые глаза. Неужели, только взглянув на него, люди не видят, что это страшный человек? Говорили, что недавно было его письмо в «Литературную энциклопедию» с протестом против статьи о Гроссмане, который уже десять лет ничего не пишет. Теперь, он стоял у открытой, жарко дышащей двери в похоронный конференц-зал, в мертвящей тишине гудел чей-то голос, произносящий речь над гробом, а он был напряжен, как пружина, и, глядя поверх голов, слушал и все время поглядывал на ручные часы: «Видите, я ведь занят, а стою». Он послушал, пожевал тонкими костяными губами и спокойно прошел дальше.

Вот Б. с лицом хорька. Он тоже остановился у дверей и с серьезным, как бы болезненным, как бы чем-то виноватым лицом недолго, невнимательно послушал, чтобы никто не мог ничего плохого о нем сказать.

Страх и безнаказанность все время сменяются и играют на его лице. Он боится уйти, чувствуя на себе взгляды окружающих, но и страшится перестоять лишнее. Переминается с ноги на ногу, нет, он не в том вечном, необратимом, что происходит там в зале, а весь в своих комплексах. И вот наконец усилием воли отрывается от места, к которому неведомой силой пригвожден, и сначала тихонько, чуть ли не на цыпочках, осторожненько и скромненько отходит, словно не отходит, а как бы случайно делает несколько шажков в сторону и еще несколько шажков, скрывается в коридоре, а там уже чуть ли не бежит.

В. постоял как бы мельком, мимоходом, на одной ноге, всунув в распахнутую настежь смертью дверь мордочку «гиены в сиропе» и, когда ему стало скучно, отошел, забыв все на свете, весь в своей живой авторитетности.

Подошел и Г. с прищуренным, прикрытым глазом, с лицом, приснившимся в дурном сне, как бы сочувственно послушал и пошел дальше.

Все они знали, мимо чего проходят, мимо того вечного, необратимого, что ждет и их, но не хотели, не желали, боялись или не способны были об этом подумать.

Думали ли они, по крайней мере, о содеянном, каялись ли, проникал ли страх возмездия в их душу, или они всецело были в текучке, в интригах, в своих личных шкурных интересах, полной уверенности в своей безнаказанности?

Там, в убранных коврами уютных барских апартаментах, они сидели в глубоких кожаных креслах вокруг массивного министерского дубового стола, и из огромных окон ровно лился спокойный солнечный свет сентября.

О чем же они там говорили, в солнечном кабинете, как могли рядом с гробом своего коллеги обсуждать мелкие хищные вопросы и какими бесчувственными, зачерствелыми должны были они быть, какими выжатыми лимонами, сколько унижения, презрения от высших должны были вытерпеть, сколько их должны были топтать в тех высоких кабинетах, через какие страхи должны были они пройти, чтобы все живое из них выутюжить, вычерпать и чтобы они стали только винтиками этой бесчеловечной машины.

В отделе кадров шла будничная работа. После смерти члена Союза его личное дело сдают в архив, вынимая из роскошной коричневой папки, и сотрудники между собой это называют «раздевать».

— Валя, ты Гроссмана уже раздела?

В крематорий я поехал в одной машине с В. Тевекеляном. Помню, как только он появился в Союзе в 1956 году, старая лиса Никулин, услышав его первую речь на собрании, сказал: «Он вас всех подожмет». Теперь он занимал высокую должность парторга МГК, ему поручено было проследить за порядком похорон, чтобы все было как нужно, тихо, прилично и правильно, без нигилизма, вывихов и вывертов.

Он был комиссаром похорон, и, сидя рядом с ним в машине, что бы я ни думал про себя, я был как бы в безопасности.

Вдруг он сказал мне:

— И мы умрем, а не хочется, как не хочется!

Еще бы ему хотелось. А ведь были в этой скорбной толпе провожающих и такие, которым уже хотелось скорее все кончать.

При виде Донского монастыря я бодро сказал ему:

— Все тут будем.

И он весело кивнул, совсем не ощущая, как, впрочем, и я, и никто не ощущает, что это его лично касается, всех, но не меня, не может же этого быть, чтобы меня повезли в черном автобусе.

И снова краснокирпичные стены Донского монастыря, эти широкие, всегда раскрытые ворота крематория.

Зеленая тишина и строгое современное ультраурбанистское сооружение с вечно дымящей трубой.

Тут в высоком и гулком храмовом зале мы стояли и ждали среди высоких шкафов с урнами. Трудно, невозможно, немыслимо представить, что все это были люди, от которых остались только одни выгравированные на металлических табличках имена, что это были счастливые, веселые и печальные, добрые и подлые, мудрецы и невежды, совестливые и бесстыдные, тихие и буйные, завистливые и бессребреники, гуляки и аскеты, дельцы и сумасшедшие. О, если бы вдруг заговорили все эти голоса, если бы засмеялись вдруг или, может, заплакали.

И вот наконец гроб Василия Семеновича Гроссмана на постаменте, как на трибуне.

Стояла тишина, вернее, микроТишина этих похорон, потому что в нескольких шагах уже суетились, пошумливали, подвывали следующие похороны.

И были речи, и медленное открывание зеленой шторки, и медленное и неумолимое опускание гроба под звуки реквиема.

Это был последний миг его существования. Еще можно было увидеть, как мелькнули седые виски его, надбровья в жалкой бесполезной сердитости, окостеневшее, ссохшееся в незнакомой желтизне лицо и теперь маленькие, высохшие рабочие, натруженные руки...

Через миг всего этого не станет. Где-то там в адской глубине костяной лопаточкой соберут кучу пепла, да и кто знает, его ли пепла или предыдущего, или последу-

ющего. Там у этих кочегаров работа конвейером, и нет для них ни гения, ни палача, ни старика, ни ребенка, ни красавицы, ни уродки.

* * *

О, сколько в тот вечер последней встречи еще было в нем силы, какой динамитный заряд творения, жажды, самолюбия, сколько было накоплено, сколько запечатленных картин, удивительных, волшебных, какая уйма острых, метких словечек, которые он так любил. Какие планы, сюжеты, сколько типов, сколько типов! И какая бездна любви, нежности, ненависти. И все это ушло с ним, сторело в мгновенном адском огне, от всего осталась серая кучка магнезитового пепла с расплавленными золотыми коронами, которые вытащили щипчиками и по акту сдали артельщику Госбанка, а может, и не сдали.

И чувство сиротства, чувство великого одиночества, и что все будет кончено и никогда уже ничего не будет, и удушье, и незачем жить, и такси по чужим, как бы незнакомым улицам, и нет сил сидеть на месте, и пешком где-то по Замоскворечью, по Большой Якиманке, по Болотной через Яузский мост в центр, и медленное возвращение к жизни.

А дома на улице Черняховского я встретил своего соседа, мелкого литературного вертухая. Он вышел из подъезда, веселый, молодежавый, светящийся на солнце в периленовом костюме, с дорогим, кожаным, заклеенным пестрыми ярлыками чемоданом.

- Прощайте, до свидания, я уезжаю.
- Куда?
- В Конго Киншаса, в Уганду, к горе Килиманджаро.